

Сборник

Грани. № 3

**Москва
«Книга по Требованию»**

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

С. МАКСИМОВ

ШАРЬ ИОАНН

ПОЭМА

I

В Слободе-Неволе.

Ветер гонит по улицам желтую пену.
Ночь осенняя тает в заре, как в крови...
Днем казнил царь державный бояр за измену,
А теперь царь-игумен молитву творит.

Вечеру рассылал монастырские вклады,
По убитым служить панихиды велел,
Перед сном слушал сказки цыган-конокрадов,
И на руки свои неподвижно глядел.

Крепко ставни закрыли крюками бояре.
В слободе слышен тихий заутренний звон.
Сургучовые знаки на лбу государя,
Но кладет государь за поклоном поклон.

Крест узорный сжимают дрожащие руки,
И на коврик течет благовонный елей.
— Я ль ответчик за смерть и за страшные муки?
Рассуди меня, Господи, в смуте моей!

Если я, то по праву ль караю измену?
Если я, то храню ли я русскую честь?
Коль виновен, то ввергни, навеки в геену,
Коль невинен, оставь мне державу и месть!

А сиклитам с эпархами править удобно ль?
Али хищных бояр мне к совету просить?
Власть такая безумию женщин подобна,
И не будет порядка у нас на Руси.

Я пецися о душах рабов непокорных
Должен денно и ночью по воле Твоей.
Я творю свою волю земную законно...
Рассуди меня, Господи, в смуте моей!

Но недвижны черты были темного лика.
Государь повалился на коврик без сил.
И вдруг замер дворец от надсадного крика:
— О, спаси, Ты мне, Господи, душу, спаси!

Ветер гонит по улицам желтую пену,
Ночь осенняя тает в заре, как в крови.
Днем казнил царь державный бояр за измену,
А теперь царь-игумен молитву творит.

II

В светлице.

В тот же час, в ту же самую пору, далече,
На Москве, в брусняном и просторном доме,
Соболиную шубку накинув на плечи,
Кто-то песню завел про любовь и тюрьму.

И притихли огни. И сверчки замолчали.
И лишь думка одна пристает как репей...
Горше нет на земле соловьиной печали,
Нет страшней перезвона железных цепей.

Пожалеть бы его!.. Эх, как птицей бы стать ей!
Пролететь незаметно, как ночью сова.
Жемчуг щедро залил аксамитное платье,
И слезами горит кисея рукава.

Проливают цари кровь ведрным ушатом,
Им направо — казнить, им налево — казнить.
Вы забыли, цари, что живая душа-то,
Вам царям невдомек, что любить — значит жить.

Тает мутный рассвет. И сверчки замолчали.
И лишь думка одна пристаёт, как репей.
Горше нет на земле соловьиной печали,
Нет страшней перезвона железных цепей.

Чу! Подковы стучат в торопливом размахе.
Ранний всадник подъехал, сошел у крыльца.
Замерла молодая боярыня в страхе,
И лицо ее стало белей изразца.

Точно сотни зубов, заскрипели ступени,
И стреманный с порога шмелем загудел:
— Ох, Мария Денисовна, стань на колени!
Ведь казнен наш боярин вчера в слободе...

Светел взгляд был в моленной Иусова лика.
Ветер слабо шуришал по задворкам листвою.
Брусная изба не услышала крика,
Только кто-то к младенцу приник головой.

III

На дороге.

Ах, горит в небесах васильковая просишь.
Как ошпаренный кровью, топорщится лес.
Хорошо по дорогам в медяную осень
Покачаться, как в лодке, в упругом седле.

Ванька-Ястреб скакал по каленой земле,
Волю царскую вез, государеву месть:
Погулять по Москве, на великой столице,
Шесть боярских дворов должен начисто смести.

Разметать, расшвырять и повыдергать колья,
Молодцам сенных девок в награду отдать,
А с боярынь опальных снять шубы соболями
И студеной порой в белых летниках гнать...

Ванька-Ястреб скакал по каленой земле,
И сверкала парчей шапка рысья на нем.

И прохожий мужик, и пролетная птица
Добролись его аграмаком-конем.

Жалко Ваньке одно: что пустяшное дело,
Что придется с бабьем молодцам воевать,
Рожали кони в строю. Балалайка звенела.
Норомили купцы царских слуг миновать.

Ванька-Ястреб скакал по каленой землице.
Не впервые гулять на Москве топорю.
Веселы и румяны опричников лица:
— Эй, попьем же винца на боярском дворе!

IV

Красная смерть.

Ой, не к пиру летят на Неглинку Жар-птицы.
Там не свадьбу играют, не песни поют.
То горят терема, стоном стонут светлицы,
То опальных бояр слуги царские жгут.

Красным знаменем машет пожар окаянный,
По дворам с топором ходит красный кафтан.
В красной луже лежит у порога стремянный,
Красны руби, обнавшие девичий стан.

Я опричник,
Не станичник,
Государев я холоп.
Не прикажут,
Не укажут,
Мне ни барин и ни поп.

На меня ли
Променяли
Честь княжю на Руси!
Дозволения,
Иль прощенья
У меня теперь проси!

Хошь в утробу
Дам свободу,
Дам и стены, дам и кров,
И одежду —
Крепче кожи:
Не сносить стальных оков?

Эй ты, барин!
Эй, боярин!
Хошь повецу? Хошь, щенок!
Хошь, дубина —
Мужичица
Тесаком хвачу в висок?

Там в светлице
Молодица
Машет русою косой.
Как возьму я,
Подоблю я,
Да о камень головой.

— Эй, опричник, тащи молодух на расправу
На широких дворах зачинай молотью!
И тесак обнажив, шарку рысью поправив,
Ванька первый вскотил в брусную избу.

Возле двери в светлицу раскинул рученку,
Словно в осень продрогший на кладбище крест,
Синий трупик лежал, синий трупик ребенка,
Обезглавленный адом посланник небес.

Чья же руки зарю на земле потаскали?
Чья коса это хрупкое горло нашла?

Ванька-Ястреб присел. И душой обессилел.
Незнакомая осторожь в сердце вошла.

Распахнулись в стене потаенные сенцы.
Кто-то мягко ступил на дубовый порог.
— Вы казнили отца. Я казнила младенца.
Пусть на страшном суде разбирает нас Бог.

Что глядишь, словно сыч? Может, хочешь
ударить?
Может, хочешь в светлице со мной ночевать?
Только завтра смотри: передай государю,
Что младенца спасла от бесчестия мать.

Ванька тихо сошел по ступеням на волю.
Занималось огнем смоляное крыльцо.
За Неглинкой-рекой, по озимому полю
Вился дьявольский дым кумачовым кольцом.

V

Во дворце.

Ой, не темный лес бушует,
Не в ножи берут купца, —
То с товарищи пирует
В слободе державный царь.

Зайцы, утки, гуси с просом,
Пар клубится от ухи,
На серебряных подносах
В жире тонут пегухи.

Вина рейнские, хмельные,
Романея, меды, бастр...
И шеврюги заливные,
Точно хрупкий алебастр.

Куры с луком и шафраном,
Осетры блестят икрой.
Слуги в бархатных кафтанах
Ног не чуют под собой.

Государь хмелен и весел.
Очи черные горят.
И шумят у царских кресел
Приближенные царя.

И келарь здесь иоанов,
И Малюта — звон оков,
И накрашенный Басманов,
И спокойный Годунов.

Гуслей звон и стук подносов.
Кто поет, кто ест, кто спит.
И клюет в тарелку носом
Сам отец-архимандрит.

Дразнит карлика царевич.
Государь же, щуря глаз:
— Ну-ка, Федор Алексеич,
Покажи нам бабий пляс.

На царя с улыбкой нежной
Смотрит Федька и встает
В юбке бабьей, белоснежной,
Пляшет Федька и поет:

— Ах, уж это толокну
Было от соседа.
Накупила я вина,
Собрала беседу...

Ох! Накупила я вина,
Собрала беседу...

Ой, и зорки черны очи!
Словно пикой бьют в упор.
— Это что там за молодчик,
Что сидит, потупив взор?

И дрожат царевы губы,
И гремит: — Чего не пьешь?
Видел я, как не пригубил
Ты ни разу с медом ковш.

Тают гусли тихим стрном,
Тают смолкнувшей струной.
И встает с земным поклоном
Ванька-Ястреб удалой...

VI

Перед царским столом.

— Скушно мне, государь, за дворцовой оградой.
Тошно слушать, как в окна стучат тополя.
Чует сердце, что плаха мне будет наградой
Иль на площади людной лихая петля.

Не взыщи, что не пью я веселую брагу.
Сердоликовый ковш не под силушку мне.
Знать, вчера потерял я былую отвагу,
Подпалил, видно, крылья на черном огне.

В поле ветер гуляет у нищего тына,
День-деньской по церквам панихиды поют.

Мать горячей слезой над зарезанным сыном
Платит дань государю за удаль мою.

Променял второпях я зипун и сермягу
На кафтан непривычный с чужого плеча,
Бросил русскую честь и лихую отвагу
На обрызганный кровью алтарь палача.

Потоптал артамаком зеленое жито.
Словно ворон летал от села до села...
Привяжите коня моего, привяжите!
Песью голову напрочь сорвите с седла!

Не боюсь произнести я слова отречения.
Умереть на родимой земле не боюсь.
Мы давно, государь, с твоего изволения
Топором распахали под кладбище Русь...

По лавкам гул прошел нестройный.
Басманов спрятался за карлика-шута.
Дивясь на дерзость, царь смотрел спокойно
И, бровь подняв, улыбкой чуть кривил уста.

— Все, Ванька, в мире в воле Божьей.
Бывает, над убитым сыном плачет мать.
Пойми, глупец: как солнце всех угреть не может,
Так царь на всех рабов не может угадать.

И не скажу ни слова боле.
Земле ответ я не даю. Не плачем баб
Поставлен я, и не людской мятежной волей,
А Богом истинным... Иди на плаху, раб!

1947 г.

Е. ТАГАРИН

Белые Ночи

Сестрам Вере и Анне, — спутницам в скитаниях по Северу — посвящает автор.

I

Днем у нее были гости: вдова профессора, знакомая еще по Москве, и казачий офицер из под Ростова, оба ссыльные, как и она сама, а под вечер она вышла из города и прошла полями, того не замечая, далеко к реке и села с книгой на берегу. Была весна, конец мая, и стояли совершенно белые ночи, столь чистые, прозрачные и спокойные, что казались неземными. Первый год своей ссылки на Север бесстрастный и мертвенный свет белых ночей действовал на нее мучительно, и целые недели напролет она не могла заснуть, отчасти может быть и потому, что эти ночи напоминали ей о Петербурге, где она провела до революции одну зиму с матерью, выезжая в свет; весной в Петербурге тоже были белые ночи, тогда она пережила их в первый раз.

Но уже на второй год ссылки сюда, в этот маленький-старинный городок, она привыкла к белым ночам, полюбила их и часто оставалась сидеть на берегу реки, иногда до самого утра, одна, с раскрытой книгой на коленях, как и теперь, вся охваченная их чистотой и очарованием, и какой-то неизмеримой тоской, которую они будили, вместе с воспоминаниями о прошлом. Солнце стояло еще высоко, несмотря на 10 часов вечера, дрожащая фиолетовая сфера отделяла его от земли. Прямые и широкие лучи ложились, рассекая ее, сверху на город, на массивные белые громады бывшего монастыря и собора, на мирно блестящие купола, словно осеняя их, как благословляющая десница солнца, занесенная над стогнами мирного города, уставшего от дня. Солнце склонилось постепенно над рекою к противоположному берегу, движения его были почти уловимы. Огромное ложе реки под лучами было тихо, блестяще, как металл, текло мирно, одной сплошной и упругой, чуть выгнутой массой, не разбиваясь на потоки и столь густой, что казалось можно встать на это тибкое лоснящееся ложе и спокойно пойти по нему. Иногда внизу на песок набегали невидимые волны, словно вытолкнутые изнутри реки, и скапывали обратно с шипением. На другом берегу, в страшной дали, смутно синел лес на горе, над ним необычайно ярко пылало небо, как будто оно состояло из светлого пламени. Чуть дальше налево была видна деревня: черные торбы крыш, розовая игра солнца в стеклах домов и над всем этим стройный шатер одинокой церкви с тонким крестом на куполе. Нигде не было видно людей, стояла тишина, какой-то великий покой. Только издали, из-за поворота реки, доходило изредка гулкое бегание колес парохода в Роду и из-за деревни с того берега глухо, и нежно доносились женские голоса, слышавшие старую русскую песню. Это была прежняя Россия, живое видение XVII века, и она невольно ждала, что вот раздастся тяжелый удар в колокола, главный и густой звук пошлет, качаясь, над рекою, и черные фигуры монахов потянутся медленной чередой из лесных скитов на молитву в церковь. Но тотчас же она вспоминала о жизни, предвешенной на земле, о действительности, окружавшей ее днем, о пошлой и жестокой деятельности новых людей, упорно строивших какую-то скучную, неестественную, книжную жизнь, в таком противоречии с

этой мирной красотой природы, и сердце ее вновь зашлось в тоске.

Сегодня был день ее рождения и ей исполнилось 30 лет! Она осознала значение этого вполне только теперь и ужаснулась. Вспомнилось вдруг как давно, лет 15 тому назад, в один летний день возвратился в их родовое имение на каникулы брат студент из Москвы и как вместе с ним в одном тарантасе приехала дальняя родственница, «Тант-Мари», как ее у них звали, хотя та совсем не была теткой, — стройная дама с туго перетянутой талией, с пышной, чересчур ясно очерченной грудью и сильным грудным голосом, который как то особенно вызывающе и грешно вибрировал, когда она смеялась. У них жила тогда сирота кузина. Брат был влюблен в нее и писал ей из Москвы длинные, нежные философские письма, и та целовала их, нумеровала, перевязав лентой, носила на груди. Вместе с кузиной она сама трепетно ждала тогда возвращения брата, шепталась с нею по углам и в саду, и все было прекрасно и полно радостного волнения и тайны. Но брат только молча, белое и смущенно поздоровался с ними, и быстро пошел к себе в комнату, а потом весь день был туго занят в мундир, несмотря на жару, и не отходил от тетки, как и все другие мужчины, гостившие у них в то лето, а когда она пела, сидя за роялем, брат не сводил глаз с ее вздымающихся полных обнаженных плеч. Кузина ходила с подпухшими от слез глазами, при встречах с ней брат неловко смущался, морщил сердито лицо и поспешно отворачивался. Тетка ежеминутно звонко и вызывающе смеялась: голос ее разносился по всей усадьбе, запах ее духов пропитал всю мебель; а то что гостя в их глуши трижды в день меняла свои шумные шелковые глубонокоткрытые платья, было «simply ridicule».



ious», как говорила мать. Утром в костюме амазонки она уезжала с братом в лес верхом. Подсаживая ее на лошадь, брат тесно обнимал ее за талию, задерживаясь в этом положении неестественно долго, и тетка ударяла его каждый раз, смеясь, хлыстом... «Какая бестыдница!» жаловалась мать отцу: «Замужняя женщина и ведь ей уже далеко за 30 лет». И ей представлялось тогда непонятным и ужасным, как брат мог предпочесть кухне эту женщину, которой было уже за 30 лет!.. Это же старость — размышляла она с недоумением и ей казалось при этом, что она сама никогда не может быть тридцати лет — ведь это уже конец!.. И вот ей тоже наступило 30 лет... Но теперь она совсем не чувствовала себя старой, а столь же молодой, как и тогда, если не моложе, ибо была теперь страшная потребность жить и ощущение красоты мира, до того сильное и полное, что было в то же время страшно жить из-за боязни потерять эту неразгаданную красоту. Да, но жизнь ее была уже кончена — старалась она убедить себя, тем не менее, — больше нечего было уждать и нечего желать!

Ей исполнилось едва 16 лет, когда разразилась революция, но прежняя жизнь успела запечатлеться в ее памяти неизгладимо, прошлое влекло ее, казалось бесспорным. И чем дальше оно уходило назад, тем прекрасней становилось, как и вся былая история России. В сущности в ней она видела, прежде всего, историю своего старинного рода, покрывшего себя в течении многих веков военной и гражданской славой. И так как в жизни их рода, о которой она слышала из семейных рассказов, все казалось ей прекрасным, такой-же была для нее и история России. Без прошлого невозможно счастье — размышляла она — счастье, в сущности, всегда в прошлом. И только прошлое прекрасно. «Il n'y que le passé qui est parfait et plus que parfait» говорил Mr de Combe, ее старый учитель. Со сладостной болью она перебирала ежедневно все, что сохранила ей, память от прошлой жизни, как коллекционер свои сокровища, со слепой тоской упрекая себя, что была когда то невнимательна, почти равнодушна к рассказам матери, отца, бабушки и радовалась теперь без конца каждой новой мелочи, которая вдруг неожиданно возникала из сумрачного мира воспоминаний.

Сегодня перед ней упорно вставала почему-то картина вечернего чая на балконе их поместья в Тульской губернии. Сидела гостья, старая княгиня Токмакова из соседнего имения, в старомодном платье с пuffedми, в чепце. Зимой и лето она ездила в допотопной огромной скрипучей карете. «Пугало в колымаге» называл ее брат. Отец с братом ушли на охоту на бекасов, дома остались только женщины, и бабушка с гостьей непрерывно вспоминали, вздыхая, о минувших днях — им тоже прошлое казалось прекрасным и они стремились назад!.. За балконом теснился густой темный сад, стояла тишина, тепло, сладко благоухали липы, а на балконе матово горела керосиновая лампа под абажуром, рождая зеленый полумрак. Отец был консерватор и не признавал ни электричества, ни телефонов, находя, что это нарушало привычный уют усадьбы. Бабушка рассказывала, как ее семья ездила в дни ее молодости в Италию, вместе с Токмаковыми, в дормезах, ибо тогда еще не было железных дорог. Шли четыре господских кареты, две для самих господ, две другие для детей, а сзади следовали бесчисленные подводы для дворни и припасов. В детских каретах ехали также гувернеры и учителя, висели исторические и географические карты и за время всей дороги уроки продолжались как дома. Старшие играли в своих каретах в бостон и безик.

«Нам шел тогда, матушка, небось уж пятнадцатый год» вспоминала бабушка: «Твои братья то и дело прибежали к нам в девичью карету с цветами для меня. Помнишь? Славно было, не то что теперь на чугунке, — дым, грохот, народ — тыфу!.. Два месяца ехали, небось, до Италии...»

И, сидя теперь на берегу реки, она старалась представить себе то прекрасное время с непреодолимой и смутной надеждой на его возвращение: длинный поезд карет, господ с длинными чубуками в зубах, кружевные накидки дам, лакеев на запятках... Почему она не родилась сто лет тому назад? — с тоской спрашивала она себя, — а в это время бунтующего плебса, толпы и шума, бариков и отвратительных многоэтажных ящиков вместо былых милых семейных гнезд!..

А назавтра, после того вечера в усадьбе, всей семьей они ездили на лошадях к соседям на свадьбу. Венчал деревенский батюшка в маленькой сельской церкви. Невеста была тонка, бледна, во флер д'оранже, похожа на хрупкий цветок, а жених — высокий загорелый гусарский офицер. Оба стояли под венцом в середине церкви, в лучах солнца, под сотнями взглядов и у невесты все время вспыхивало нежными розовыми пятнами лицо. И когда священник, обменяв кольца, повел пару вокруг аналая и по закону церкви оба стали уже мужем и женой, то, она заметила это, — гусар тайно на ходу положил руку своей жены, а та робко и ласково вскинула на него глаза в слезах. Потом поезд возвращался полями к усадьбе, вздымая пыль; на межах стояли бабы и мужики с блестящими на солнце серпами в руках, весело кричали молодым, бросали в тарантас цветы. Солнце было ослепительно, но ветер сбаивал зной, рожь и пшеница жарко волновались, высоко стояло небо — удивительной чистоты. В усадьбе, уже обедневшей и ветхой, был бал в маленьком колонном зале, играли на древних клавирах и старики хозяева танцевали старинные танцы, а за ужином молодым кричали беспрестанно «горько», пока те не целовались, и тогда кричали «сладко». А когда молодые поднялись и ушли к себе, она, девочка, замирая от стыда и трепета вдруг представила себе, как наедине этот загорелый гусар возьмет свою тонкую жену за талию и крепко прижмет к себе, и что была во всем этом некая прекрасная тайна, ждавшая и ее...

Часы на городской башне проббили двенадцать, но идти домой не хотелось. Иная, бурная, осенняя ночь возникла перед нею, их усадебный дом, пылающий в темноте, зловеющий и сырой блеск деревьев в парке, страшный свист ветра, грохочущего по крыше, плети дождя, стегавшего в лицо, и во всей этой Вальпургиевской ночи дико мятущиеся фигуры с озлобленными нечеловеческими лицами, с кольями и топорами в руках. Бабы, те ласковые говоруньи бабы, которых мать ходила лечить на деревню, в их избы, — эти бабы, как ведьмы с растрепанными волосами в мокрых сарафанах, врываются в пылающий дом и тащут оттуда перины, подушки, платая, посуду, зеркала, даже порттеры с окон, а мужики с пьяными кроваво-налитыми глазами, рубят топорами стены, столы, стулья, буфеты и роyle ломая окна и зеркала. Старый Матвей, что так истово читал в церкви апостола и всегда так ласково отвечал на поклон, этот патриархальный Матвей с тесемкой вокруг волос, дико ругается, стоя посреди залы, и визгливо кричит: «Бей, мужики, ломай все в мою голову!..»

«Вот она, революция», говорит отец: «вот она свобода для дикого народа — жечь, грабить и насиловать» и их уносит тройка, — мать, отца и ее, — а на облучке сидит брат, ибо кучер Иван, любимец отца, соскочил на полдороге и, выругавшись, убежал к дому. «Грабить», говорит отец, «натура взяла свое, а я, его, как родного любил... Иван то, думал, уж не выдаст...»

А затем Москва, уличные бои, жестокое время с обысками, арестами и расстрелами, холод и голод, смерть матери и отца, бегство брата на юг в белую армию — где был он теперь, милый Саша? — смутные слухи и надежды о белом походе на Москву, кончившиеся, увы! столь трагично, а дальше агония России, скитания по опустошенным церквям, монастырям, подмосковным усадьбам, полным какой то душу раздирающей красоты умиранья, уроки языков и так десять лет, про-

житые в тоске и ожидании, как один осенний день. А под конец этот мальчик иностранец — была ли то любовь или просто угар? — грязные вымогателства ГПУ, арест, ссылка сюда — Боже, какой калейдоскоп!.. И теперь этот Север, столь пугающий издавна и оказавшийся прекрасным, сказкой на яву, где сохранилась еще старая Россия и здесь, впрочем, уходящая навеки...

Каждый раз, когда она думала обо всем этом, ее душили слезы — не за себя, ибо она уже примирилась с судьбой и не хотела бы теперь иной, и даже полюбила этот север и свою ссылку, — душили слезы за уходящий мир Вожий, столь прекрасный и столь оскверненный людьми, за все бывшее, ибо было оно явно тоньше и лучше, чем новое, и все-таки должно было уйти, уступить перед ложью и пошлостью. Революция была для нее прежде всего синонимом пошлости. Запоем читала она книги о французской революции, о последних днях Людовика XVI и Марии Антуанеты и все более и более поражалась сходству русской и французской революций в грубости, в невежестве, в нечестности лиц, их творивших. С замиранием сердца и каким-то зловрадным удовлетворением она читала фразу Аббата Сиеса о сладости старых дней, о том, что для познавших их, уже не могло быть счастья в новых. Русская революция подтверждала это еще более. В маленькой городской библиотеке она выискивала забытые тома мемуаров людей старого времени, журналы «Русская старина», «Старая усадьба» и отсюда вставала перед нею прекрасная и невозвратимая жизнь. И опять сжимали горло спазмы от боли за тот мир, вместе с радостью страдания за него, во имя былой России, той, за которую умер государь и его семья. Портреты царской семьи висели у нее на стене на самом видном месте, несмотря на запрещение их хранить: она была бы счастлива, если бы ей пришлось за это пострадать, даже умереть. Она не была вольна в смерти, но не испугалась бы ее — думала она с тайной гордостью, с неким сладострастием жертвы, — а смело приняла бы ее, ибо к новой жизни ничего нельзя иметь кроме отвращения, ко всем этим серым и необразованным и неинтересным людям, большей частью душно одетым и глохо вымытым, которые строили вокруг какую-то «новую» жизнь. Иные из них брали даже уроки языков у нее, потея и изнемогая от непосильного труда, — зачем им были языки? — недоумевала она.

Женщина в тридцать лет остается в жизни вообще одно отречение — приходила ей в голову чья-то фраза, наполняя болью, вопреки всем ее прежним построениям, и тогда еще более страстно она бежала к религии. Влажен, кто бросил якорь яе в эти житейские волны, бездонные волны жизни! — твердила она с восторгом, подражая себе, и помногу раз в день бралась за Евангелие, каждый раз поражаясь его светлоте миру и мудрости, или к стихам Соловьева и Тютчева, к немецким романтикам, к Новалису и Эйхендорфу и с жаром читала их мистические строфы:

*«Du bist mein Schatten am Tage
Und in der Nacht mein Licht...»*

И ей казалось, что здесь тайное спасение.

Однако, иногда, этот экстаз жертвы и самоотречения вдруг, неожиданно и беспричинно, оставлял ее, в особенности в летние жаркие дни; мир вставал во всей своей неотразимой и грешной красе и все, что казалось прежде незыблемым, разом обращалось в прах. Она оставала Евангелие и старые книги и хваталась за русских декадентов, за Блока и Сологуба, и, нараспев, лежа на кушетке, читала их неясные стихи, полные какой-то возжеленной и темной неги и муки, стыдясь за себя и все-же не в силах оторваться от их плотского очарования. Так прошли первые годы здесь на Севере.

И, сидя теперь над рекой, она спрашивала себя, недоумевая: для чего-же она была рождена в этот мир в это время? Кто знал и кто мог дать ответ? Начиная

склон, дорога к смерти. И если была у нее какая-то задача или назначение в жизни, то остались они для нее неизвестными и это было особенно горько.

Солнце опустилось за лес на дальнем берегу. И почти в тот же миг вновь вышел рядом огромный медно-зеленый шар и словно повис в воздухе. Мгновение все было залито мертвенно-красным светом, но шар ожил, закипел, во все стороны полетели, рассыпались искры и лучи, и снова мир заиграл в солнечном свете. Начался уже новый день. Ласточки с шумом выпорхнули из нор на берегу и понеслись стаями над рекой. Рябь побежала по воде, потянувшейся туманом, как дымом. Где-то вблизи густо загудел одинокий овод. Стало свежеть. Из-за мыса выбежал белый пассажирский пароход и прошел мимо по розовой воде, распуская волны веером, как лебедь. На палубах никого не было. На мостике стоял одиноко капитан. Его фигура и весь пароход казались воплощением мирной жизни и мирного труда, как вся эта тишина и солнце и радостный свет, и светлые блики на девственно желтом песке, и высокое и еще бледное небо, в таком противоречии с действительностью, что творилась днем, с деяниями людей, и в таком грустном единении с тем, что происходило в ее душе. «Мы вне природы» — подумала она — «чем ближе к ней, тем покойней душа». Она встала и пошла медленно к дому. Тонко пахло воздухом и по небу уже вытягивались длинные белые ребристые косы облаков.

II

Назавтра к ней вновь пришел под вечер сыльный казачий офицер. Последнее время он приходил каждый день. В городе считали их женихом и невестой, но они не были ими; их связывала общая участь сыльных. Вместе они были заняты в городской школе: она давала уроки языков, а он — математики; оба не могли выскать из города без разрешения властей, и каникулы проводили вместе, гуляя по полям и лесам окрестным, и темой их разговоров была всегда Россия. Ему шел сороковой год; был он высок, сух, лицо его, худое и не красивое, но мужественное и значительное, походило в профиль на Данте; он мало говорил, казался всегда мрачным и нелюдимым. Она знала, что он бывает только у нее, сама же замечала, что ждала его прихода, и в дни, когда он отсутствовал, чувствовала себя не по себе, точно ей чего-то не хватало; она думала, что жалела его в его одиночестве, что это дружба двух бывших людей, что он из последних «белых рыцарей слова и долга», и если бы ей сказали, что она любила его, то была бы оскорблена.

На севере он находился уже больше 10 лет. Во время гражданской войны на юге он был взят красными раненым в плен, приговорен к расстрелу и сплелся только потому, что брюшная рана приковала его почти на год к больничной койке. Потом он был сослан сюда на север в лагерь для офицеров и через несколько лет выпущен на волю, без права выезда. В России он не имел никого близких: отца его, старого казака, повесили красные на дереве вниз головой; так провисел он до смерти много часов, вороны выклевали ему глаза при жизни; мать погибла от голода в двадцатых годах, а два брата перешли во время войны к красным и бились на противной стороне. Только она знала про эту тайну, мучившую его, ибо он считал, что и сам покрыт позором измены братьев. Как и она, он был влюблен в прошлое России, ее былую боевую славу, и утешение находил лишь в книгах, в романах Толстого и Тургенева, и едва мог удержаться от слез, когда читал описание старой помещицы или крестьянской жизни, об усадьбах, хуторах на Кубани, где он когда-то давно, давно мальчишкой уводил табун лошадей на пастбище в степь, о старых людях, о Наташе Ростовской, о старике «Чистое дело мариш», о дедушке Еропке из «Казачков», полный какой-то томительной уверенности, что все это еще не кануло в

вечность. Он ненавидел новую Россию, если можно было только так звать ее, и людей ее творивших, и будь он где-нибудь в центре, в Москве или Ленинграде, вероятно, давно уже попался бы вновь — так открыто и непримиримо носил он свои чувства — и был-бы скорее всего расстрелян, а здесь, в этом маленьком городке ГПУ его просто не понимало, ибо сидели там не люди, как говорил он, а двуногие. «Бежать, бежать», убеждал он себя, иногда на мгновение страстно хватаясь за эту надежду, но тут же спохватываясь: Куда бежать? России больше нет, всюду один и тот-же позор, а за границу? Россия от этого не вернулась бы. Стоило-ли бежать, спасая только себя... Временами на него находили приступы глубокого отчаяния, такие, которые кончаются в конце концов самоубийством, ибо он не верил в Бога, правящего судьбою каждого отдельного человека, и еще менее в Христа. Дни и ночи напролет он проводил за новейшими математическими изысканиями, за проблемами современной физики и приходил к заключению об иллюзорности материи и о ложности видимого образа мира; конечное становилось как-то равно бесконечному. Это давало ему известное философское утешение, сознание бренности всего бытия, и порождало в то же время не то чувство, не то веру в некое всевышнее существо, в некую единую силу, которая впрочем, могла быть и злой, а скорее всего равнодушной к судьбам людским, ибо злое сеялось ею не в меньшей мере, чем доброе.

Потом она приехала в ссылку и появилась в школе, подошла к нему, как и ко всем учителям, и сказала, являя картину: «Здравствуйте, я очень рада». «Наташа Ростова», ударило ему в голову. Да, это была живая Наташа, сошедшая с толстовских страниц, это было женское видение из прежней России. Он сразу-же распознал в ней существо того прекрасного мира, и его потянуло к ней, но он чуждался ее вначале, ибо, судя по имени, происходила она из одной из самых старинных семей России, а он был казак, «плебей», как убеждал он себя с нарочитой гордостью. Однако, она не замечала, или не хотела заметить, ни его холода, ни сумрачного лица, и подходила к нему, как и ко всем другим, и заговаривала доверчиво. Ни он, ни она не помнили теперь больше, как вышло так, что они сошлись ближе и он стал сначала провожать ее до дому, потом заходить к ней и все свободные дни сопровождать ее на прогулках за город, весь замирая от счастья. Она казалась ему совершенной. Род ее принадлежал к самой отборной знати России, но она не кичилась этим, в ней совершенно не было ни чванства, ни снобизма, как увы, у многих представителей бывшего режима, которых он знал по войне и лагерю, что делало их нестерпимыми. Она не только не давала заметить разницы в былом их положении, но, казалось, не придавала этому никакого значения, по крайней мере внешне, — и во всяком случае меньше, чем он сам. «Древнее имя, титул, герб», говорила она, «все это очень красиво, как красива старая мебель, бронза, фарфор, но и только, не более...» В душе он не был с ней согласен. Тысячелетняя аккумуляция духовной и утонченной культуры, не могут пройти бесследно — думал он, как натуралист, — уже по одному закону отбора. Это должно привести, быть может, в конце концов, к некоторому телесному истощению, но и к духовному благородству и тонкости. Она являлась для него воплощением настоящего аристократизма, как он его представлял, аристократизма тела и духа: была проста и предупредительно-одинакова ко всем, полна исключительного чувства долга и необыкновенной внутренней чистоты. Появление ее заставляло его, в сущности, только больше страдать, ибо то, что он полюбил в старине из книг, теперь предстало ему, воочию, делая современность еще более нестерпимой.

Оба они полюбили город их ссылки, как место, где много выстрадано. Этот крохотный древний городок с маленькими деревянными домиками в палисадниках, заросших черемухой, рябиной и малиной, с деревянными

мостками вместо тротуаров, со множеством старинных церквей, стал для них как бы символом умирающей и страждущей России. Он был знаменит когда-то, был первой российской гаванью и резиденцией северных епископов. От бывшего величия остались лишь каменные храмы, непропорционально-огромные для этого умершего города, давящей своей величиной. После революции их закрыли один за другим или предали неизвестности. На берегу реки за оградой высклился бывший кафедральный собор, огромный четверик необыкновенной строгости линий, с пятью массивными куполами в виде луковиц. Купола и белые стены горели на солнце нестерпимым блеском. Собор был также закрыт и причт сослан. Столетний троп от ограды к ступеням стала уже зарастать травой. Птицы испачкали стены и окна. А рядом с собором был раньше женский монастырь, превращенный после революции в лагерь, где он как раз сидел, а после полуразрушенный. Из монахинь остались только две, они жили где-то в ограде, в руинах, как две погорельки на родном пепелище, ходили не в монашеском одеянии, но по-прежнему в черном. Одна была еще не стара, лицо ее под черной накидкой было красиво, бледно, одухотворенно. Они сохранили как-то ключи от собора и усердно запирали его, хотя окна всюду были разбиты. Собор был полон света и теней, свежей острой прохлады векового запаха камней и гудкого бения крыл голубей, витавших под куполом. С древних икон смотрели строго и грустно потемневшие лица святых, Богородицы с неизмеримо-печальными глазами, — лица, написанные одухотворенной, проникновенной кистью неизвестного мастера. Частью лица были уже осквернены, глаза святых выколоты, к лицу Богородицы прималеваны усы и борода, иконы покрыты нецензурными надписями. Монахини крестились, поспешно закрывали ладонью глаза, плакали. Они водили гостей на хоры, в огроменную вьсь и вспоминали, смахивая рукой слезы: «Бывало пели сестры наши здесь ангельскими голосами, как в раю».

Вдоль отсыревших стен стояли мраморные гробницы бывших епископов, с надгробиями, высеченными вазью на плитах. «Преподобный Афанасий, первый епископ Холмогорский и Важский», — гласила одна надпись, — «родился лета 7149, преставился лета 7211 дня 12 сентября. Святительствовав 25 лет с половиною. Был добрый пастырь и просветитель края» и далее шел надгробник в стихах. Этот счет лет от сотворения мира по представлениям тех времен, и эти гробницы, пустой и холодный храм — все действовало необыкновенно, гласило о тленности и бренности мира, и казалось невероятным, что текло когда-то действительно время, о котором здесь шло дело, столь разительна была перемена. От монастыря, рядом с собором, остались только выпученные осыпающиеся стены. Он провел ее раз по ним. Здесь он пробыл около двух лет в заключении, когда тут помещался лагерь, и каждая пядь ему была, увы, чужда и знакома. Лица его ждалось, когда он говорил: «Это была наша келья белых офицеров, в былой трапезной монахини. Здесь — женская палата. А это был карцер, смотрите — на эти надписи на стене... А здесь расстреливали...»

Церковные службы в дороге шли в кладбищенской церкви, единственной незакрытой. Высокий старый священник совершал богослужения. У него тряслись от старости руки, тряслась седая длинная борода, все его тело дрожало голое. От бывшего причта остались он один, не было больше ни хора, ни диакона. Священник путался в словах, уже не владея памятью. В церкви всегда стоял полумрак, не зажигали свет, две-три одиокие старухи молились, вздыхая, на коленах. Она ходила к службе, ибо ей, как слышной, уже нечего было бояться или терять.

В два года они исхолили все близкие окрестности. Сразу же за городом простирались необоримые дуга поля, с лесом на дальнем горизонте — одиокая ширь и тишь. Край был когда-то церковный, монастырский, куда им оглядись — еще возносились главы деревянных

деревянных церквей. И они большей частью, были тоже осквернены, входные плиты проросли травой, окна и двери были выбиты, на полу валялись разорванные священные книги и одежды среди человеческих нечистот. Службы не шли, не звонили колокола, духовенство было в бослях. Они скитались летом по пустеющим деревням, когда то, видно, привольным и богатым, а теперь со множеством заколоченных накрест окон и дверей, видели умирание былого крестьянского мира и обычаев его, освященных веками, во имя какого-то чудовищного коллектива; видели неспаханные засыхающие поля, бездомный скот, скитающийся с унылым ревом, видели, как гнали на Север в леса огромные потоки ссыльных крестьян с юга — Украины, Волги, Туркестана... Это был конец былой России, агония ее, и все это связывало их еще более общей смертельной болью.

Иногда, после таких скитаний, она задерживала его у себя к вечернему чаю. Большей частью оба молчали при этом, подавленные тем, что видели и пережили; иногда она рассказывала что-нибудь, часто об Италии, Франции, Англии, куда они ездили раньше на лето всей семьей. «Боже мой», вспоминала она, «Россия так прекрасна, а мы снобировали ее и ездили только за границу каждое лето. Зачем?» Она показывала ему собственные снимки, сделанные маленьким кодаком, случайно уцелевшие у нее; «Вот эта башня, где сидел Саванаролла — с каким трепетом я бродила по Флоренции! Вот Рим, Форум. Я была на нем ночью — он лежал весь под лунным светом. Какой-то английский студент декламировал громко Байрона, стоя на руинах: «Oh Rome my country, city of the soul, the orphan of the heart must turn to there»; показывала старые семейные миниатюры, медальоны, записные книжки, *mille petites choses*, вещавших о веках тонко прожитой жизни. «Осколки разбитого вдребезги», говорила она. «Вот моя прабабка». На него смотрела старуха в чепце с суровым породистым лицом. «Медальон этот она получила от жениха в день свадьбы. Видите надпись: «*A l'ange de ma vie!*» А дальше, смотрите, прибавлено уже старческой рукой, после долгой жизни, прожитой вместе: «Написано рукой моего забывленного мужа в день нашей свадьбы». У них было, кажется, шестнадцать детей. Как они умели жить раньше, какая была гармония духа и тела, какая святость чувств и полнота счастья».

И им овладевало невольно отчаяние от сознания, что жизнь эта уже совершенно невозможна для него — что он не имел ее даже в прошлом, и что такого счастья уж никогда не будет на земле. Ему стало давно ясно, что он любил ее, хотя он и старался убедить себя, что не может более никого любить. В ней нравилось ему все: некоторая хрупкость ее фигуры, и низкий голос, и простая гладкая прическа на старинный лад, как у прерафаэлитских женщин, нежное худое лицо, худые беспомощные запястья, вздрагивающий смех, и речь ее — картавая и пересыпанная иностранными словами. Он любил ее и говорил себе, что об его чувстве она никогда не должна узнать; не ее вина, а его, что он не владел собой; она не давала никаких поводов со своей стороны. И он потерял прежнюю естественность и, идя к ней, часто мучительно думал, как и о чем будет говорить, и как подойдет, и можно ли целовать ее руку, и что манеры его, вероятно, ужасны, и что она должна его внутренне презирать. Но она держала себя с ним всегда непринужденно, всегда ласково, каков бы он сам ни был, и он отходил, в конце концов, от своей меланхолии и недоверия. Его тянуло к ней ежедневно, со страшной силой, но он сдерживал себя и даже старался отдалиться от нее и реже бывать, ибо думал, что от сближения лишь проитрает, а она так много, так ужасно много вытравывала, была так обвершена, несравнима ни с кем из людей, которых он знал. Она благосклонна и снисходит до меня, — думал он дома, один, ибо здесь никого нет, и ему казалось, что слова ее часто содержали двойной смысл и насмешку над ним, целыми неделями он не шел к ней больше, оставаясь од-

нако часами на улице, даже зимою, в надежде встретить ее, как бы случайно. Потом, не в силах более ждать, шел к ней снова и она встречала его, как ни в чем не бывало, всегда ровно, словно не заметив его отсутствия, и это равнодушное убивало его еще больше. Сговариваясь на прогулку, она говорила: «Смотрите, не пропадайте. Я же боюсь одна гулять!» И он думал с раздражением: ей ничего больше не нужно от меня, как только сопровождать ее во время прогулок. Иногда он так строил свои фразы во время разговора с нею, чтобы ответ определил ее отношение к нему, но выходило всегда как то так, что по словам ее ничего нельзя было заключить. И эти несказанные слова, которые она могла бы сказать, были еще мучительнее. «Я ей совершенно безразличен, совершенно», убеждал он себя.

«У Вас отвратительный характер», смеялась она. «Вы ужасно непросты, будьте проще и не ищите двойного смысла, и верьте, что к Вам хорошо относятся».

И сейчас, идя к ней, он думал обо всем этом, с горечью за себя, а еще более за нее. Для чего родилось это чувство, бессмысленное и безнадежное!.. Не мог же он предложить ей выйти за него замуж, убеждал он себя, стараясь использовать ее доброту и беззащитность. В старое время она не могла выйти за него замуж, это был бы неслыханный мезальянс, значит он был недопустим и теперь, хотя, возможно, из чувства дружбы, отказ ей был бы и затруднителен. Но именно потому он и обязан был отказаться от всякой надежды. Однако дальше так продолжаться не могло. Не хватало сил дольше оставаться здесь немым свидетелем умирания и унижения России без всякого просвета. Постепенно всех сильных, забирали из города в леса, на сплав, пока только простой народ, мужиков и баб, но он знал, что очередь дойдет и до него и что ужаснее: до нее. И ее погонят в лес и может быть скорб на верную гибель. Бежать! подумал он и остановился: бежать вместе с нею!.. У него захватило дыхание. Каким это было бы счастьем! И почему этот выход не приходил ему раньше в голову? Он не думал: куда, как; и в качестве кого она бежала бы с ним, а только твердил: бежать, бежать вместе с нею!..

Она сидела в своем углу на кушетке у печки с книгой в руках, столь простая, земная и необыкновенно прекрасная, как ему казалось. Веяло от нее другой жизнью, другим благородным и утонченным миром, существовавшим теперь только в его воображении и в книгах. То, что он испытывал при виде ее, напоминало ему чувство, которое вызывали в нем воспоминания детства. И сегодня, как всегда, было в ней нечто, дававшее ему понять, что она ждала его. И это наполнило его радостью. Отложив книгу, она протянула руку, не вставая:

— У Вас опять мировая скорбь?.. Что с Вами?

— Я не могу больше, — вдруг вырвалось у него, хотя он совсем иначе хотел начать этот разговор, — я не могу больше, я решил бежать!..

Лицо ее вспыхнуло, будто откуда то упал на нее розовый свет, и мгновенно погасло. Она поникла и ничего не ответила. И он молчал, не зная, что сказать. Мысль о победе потеряла свою притягательность, стала эгоистичной, почти пошлой.

— Вас поймут и расстреляют.

— Пускай! Лучше смерть, чем эта вечная ложь и пресмыкательство перед ними...

— А я? — вдруг по детски, растерянно спросила она, вскинув на него глаза, слезы светились в них; губы ее приоткрылись, стали видны зубы и розовая линия десен и это придавало ей совсем детский вид. «Боже мой, что я говорю!» вдруг спохватилась она: «Простите меня, мою слабость. Разумеется, делайте, как Вам лучше. Вы — мужчина, Вам труднее здесь, чем мне. Мы женщины ведь созданы для терпенья. Разумеется, бегите... Сожгите все прошлое, все мосты, начните новую жизнь. Может быть Вы попадете за границу... Вас никто не узнает». Он хотел протестовать, но эта ее фраза: «А я?» все еще звучала ему, наполняя счастьем. «Спасибо за дружбу Вашу», го-

лос ее дрогнул: «она окрасила мне мое изгнание. Жизнь такая темная и безрадостная теперь, что дружба является единственным утешением». Увы дружба, — думал он с горечью, — она не сказала: «любовь». «Вы были верным другом и мне было хорошо с Вами. Спасибо!.. Я понимаю, что Вам скучно со мной одной... Tout passe, tout lasse... Зачем, однако, я говорю все это?»

Было видно, что она волновалась и мысли ее текли без связи; он глядел на нее изумленно, не веря своим ушам: значит он был дорог ей, все таки?

«Разум одно», — продолжала она тихо, «а сердце имеет свои резоны. У меня всегда было так, что я судорожно цепляюсь за что нибудь, когда другой кто то, невидимый, это уже отнял... Может быть такова участь всех женщин...»

Ее лицо то вспыхивало, то бледнело, чуть заметно дергалась левая щека, руками она теребила оборку шарфа, накинутого на плечи. Шарф упал вдруг и оголил ее плечи, а сбоку легли на них два круглые, черные смоляные локона. У нее было скорбно-красивое лицо, сочные, чуть припухшие губы, плечи ее были столь молочнок-нежны, что хотелось не целовать их, а кусать, как фрукты. Боже мой, если бы она знала, что я думаю о ней! — в ужасе осознал он и, вдруг, почти помимо себя, схватил ее руку и судорожно припал к ней губами:

— Я люблю Вас, люблю Вас, неужели Вы этого не знаете, не заметили!.. Я люблю Вас, бежимте вместе, будьте моей женой... Мы пройдем за границу...

Она не взяла обратно своей руки, не отстранилась, но ничего не ответила. Слеза упала вдруг на его руку. Он вскочил со стула и подошел к окну, и остался там стоять, лицом к стеклу. Оба молчали долго. Потом она встала, подошла к нему, и сама взяла его за руку:

— Не стоит, друг мой, любить меня, не стоит. Ведь это только несчастье. Мы — бывшие — не смеем любить. Я свяжу Вас на всю жизнь и потащу. Мы оба погибнем здесь... И если бы у нас были дети, что вышло бы из них?... Бездомные, изломанные на всю жизнь существа. А один, Вы еще сможете как то переломить себя, изменить свою жизнь... У Вас еще много сил... Уезжайте, оставьте меня одну... Я Вам приказываю уехать...

— Но уедемте вместе! Милая, бесценный друг, бежимте вместе, мы пройдем за границу...

Ей припомнился вдруг Париж, Елисейские поля, залитые вечерним огнем, блестящий поток автомобилей, их мягкий шум по накатанному асфальту, тихие набережные Сены, аристократический Версаль, куда она ездила когда-то одной незабвенной, счастливой весной; она предстала себе жизнь там на Западе, с ее культурой и покоем, в сравнении с жизнью здесь, вспомнила, что две трети ее бывшего мира там, и ее потянуло туда со страшной силой — но тут же перед ней встали вновь умирающие русские деревни, разрушенные усадьбы под Москвой, оскверненные храмы, российские бескрайние поля и леса...

— Нет! — ответила она тихо. — Я не хочу за границу... Я останусь здесь. Россия уходит в вечность, ее уже больше не будет, и я хочу иметь ее до конца. Эти последние Церкви, последние священники, последние крестьяне — я хочу быть с ними. Там будет личная свобода и безопасность и сытая жизнь, но я умру с тоски, зная, что Россия умирает и что я ее никогда не увижу более, ибо то, что придет после, будет, может быть, Россия, но новая. Я люблю старую и останусь с ней до конца.

Он молчал. Ей, видно, стало жалко его; она погладила его руку:

— Вы успокойтесь скоро. Вы любите, в сущности, не меня, а созданный Вами образ во мне. Вы ищите олицетворение былой, любимой Вами России, Наташи Ростовской, как Вы говорили. У Вас не любовь, а воспоминание, перенесение былого в настоящее. Таких, как я, Вы встретите среди эмигрантов тысячи. Это общий тип, и Вы забудете меня. А я здесь буду жить также, как раньше.

мирно и беспорочно, — она засмеялась — и однообразно, как капли дождя... Но я не хочу ничего яркого, я бы испугалась... Утомительно, так спокойнее... Я любила Вашу дружбу и то, что в ней не было ничего грубого... Как амitie amoureuse, как у Полины Виардо и Тургенева, казалось мне иногда — или у Пушкина и Элизы Хитрово... Боже, как мне хотелось бы иметь что либо подобное... Но любовь?.. Любовь, когда она перейдет в жизнь, она ужасна... Вы любили уже несомненно? — вдруг спросила она: — Увы, и я тоже... Я испила уже этой воды...

Эта фраза обдала его нестерпимой болью. Он знал, правда, что она была, кажется, замужем, что брак ее был несчастлив, но ему казалось, что до сих пор она любила кого-то другого, что из ее слов можно было это заключить.

— Кто знает, — продолжала она, — если бы мы встретились раньше, кто знает, может быть я и пошла бы с Вами.

«Нет, ты не пошла бы — думал он с горечью — и раньше ты не пошла бы со мной, — называя ее в уме на «ты».

— А сейчас Вам лучше одному... Бегите и забудьте меня... и прощайте. «Fare thee well, and if for ever, still for ever, fare thee well!» — Недаром — она улыбнулась — так часто я читала этот стих последнее время, помните?..

III

Созрели луга, аромат от них тек густой пряной волной через город, так что тяжелела голова и клонило ко сну. В окрестных деревнях начали косить. Солнце давалось весь день в седом и беспощадном блеске, была страшная сушь, где-то далеко горел лес и пахло гарью. Сухой дым застилал небо, но это не уменьшало зноя. Это была последняя вспышка лета, за которой чувствовалось уже прощанье, умирание. Белье ночи тускнело. После Ильина дня сива коня в поле не увидишь, — говорила старая северная пословица. Каждый день она много гуляла в одиночестве по полям, вдыхая жаркий и сухой дух ржи, полная какой-то безнадежной, беспредметной тревоги, неутолимого покоя. Она думала сначала, что это предчувствие лета, томительное действие этих осыпающихся блеклых васильков во ржи, а там близость осени и бесконечной зимы. Да, может быть, это и было так. Но за всем тем стояло все-таки нечто другое, чего не было в прошлые годы, и она скоро уловила, что мысли ее в сущности заняты только им, с кем она проводила ссылку, и кто теперь ушел от нее. Сначала она думала, что жалела о нем, как о всяком хорошем знакомом, что это пройдет со временем. Не могла же она удерживать его и ломать ему жизнь! Это было бы просто не честно, раз она не могла ему ответить на его чувство. Ей казалось, что она не могла вообще любить больше. Было бы недостойно искать личного счастья после того, как умерло все дорогое для нее, весь былой мир. Так хотел Божий промысел. И раз она принадлежала к тому упреждающему миру, ей не оставалось ничего, как отречение от жизни, ожидание, когда и она сама уйдет вослед. Так думала она, вся охваченная горестной жаждой страдания.

Но чувство покоя не проходило, как прежде, и когда она гуляла по полям, полным света, блеска, жары, все ее доводы рушились, как картонный домик. Что-то было не так!.. Права ли уж она, убеждая себя, что не могла любить? — приходили сомнения. И была ли любовь преступлением против жизни и того мира?

В ПТУ, куда она ходила на отметку, ее тянуло спросить что-нибудь про него, но она боялась погубить его в погоне... И с ужасом ловила себя на желании и даже видела раз во сне, что его поймали и привели назад... Потом случайно она узнала, что он получил разрешение отлучиться в губернский город из-за былой раны, что отъезд его и отсутствие были, таким образом, легальны и побег ему несомненно удастся, ибо его долго не хватят.

ся... Оздобление охватило ее; эгоист, он все обдумал заранее, класнокровно заботился только о себе, совсем не любил ее... Дома слезы теснили ее и она плакала долго, до изнеможения. Да что со мной — она топала в конце концов рассерженно ногой — что со мной, ему наплевать на меня, а я схожу с ума!...

Каждый вечер она шла к реке и садилась на берегу на своем любимом месте. Белые ночи кончались и ей было мучительно жаль их и не было сил заставить себя остаться дома. Днем она уговаривала себя: именно эти бездонные ночи с их мистическим мертвенным светом, с их ясной и непостижимой захватывающей далью, лишающей ее воли, но к вечеру она невольно вставала и, как лунатик, брела по узкой тропе, поросшей кашкой и подорожником, к берегу и оставалась сидеть над рекой почти до утра.

— Сегодня я пойду в последний раз, — сказала она себе, — иначе я с ума сойду от этих ночей.

Было всего четыре часа вечера, когда она вышла из городка. Сразу за домами лежали поля ржи соседней деревни. Рожь была высока, спела, покрытая пылью с дорожки. Темные волны беспрестанно бежали по ней, тщетно стараясь дотечь друг друга; рожь подгибалась низко, медленно выпрямлялась, словно поддомленная их воздушной тяжестью. Кое-где рожь уже сжали, жнитва тускло, медным блеском, искрилась от солнца. Скирды стояли в одну линию посреди поля, покрытые снопом, как шапкой, точно так же как давно, давно у себя в Тульской губернии. Вдоль межи на привязи пасся пестрый могучий бык и призывно ревел, тяжело ворочая головой, приросшей прямо к груди, и в ответ тревожно и протестно мычали коровы. Пастух, мальчишка, лет двенадцати, в лаптах, в посконной рубахе, совсем белоглазый, тупал стадо из лесу с поскотины в деревню на ночь, коровы шли пестрой гурьбой, почти бежали от комаров, обмахиваясь хвостами; звонко бренчали колокольцы. Пыль ройлась над стадом, резовая на вечернем солнце. Влево были видны крыши домов и купол церкви со выходящим крестом. Это была извечная картина деревни, светлый крестьянский мир, что благостоял сотни лет, и, хотя она знала, что все глубоко изменилось, что этот покой лишь наружный, что крестьян уже нет, а есть колхозы, что в церкви не служат и священники давно где-то в Сибири, — все же это был Божий мир! Что бы ни делали люди на земле — думала она — остается некий закон жизни, общий для всех времен. Все остальное временно, суетно. В осознании этого закона и в отдании себя ему и заключается задача жизни. Но что это был за закон?...

На берегу она опустилась на камень под ивой, где всегда сидела. Дул легкий ветер, но ива защищала ее. Рядом клубились в чудовищной толчее комары, увлекаемые ветром, и сперва казалось, что их движения — бесмысленны; они повторялись однако, были упорны и неизменны и очевидно тоже подчинялись какому-то порядку, как и весь мир... Река играла на солнце; от блеска ее болели глаза. Направо река уходила крутым поворотом; огромный луг расстилался между нею и берегом — бывшее русло реки. Там шел покос, косили кривыми косами, по старинному. Косы весело вспыхивали на солнце, разбрасывая блеск, как молнии; иногда долетал нежный звон от точения лезвий; пряный запах свежего сена густо тек с луга от темнеющих накошенных рядов. Скоро косить перестали. Мужички телеги потянулись с луга в деревню одна за другой. Парни и девки шли сзади парадом, обнявшись, и пели песни. Гармония заводила песню, девки подхватывали ее и все скоординированно в общем страстном и старинном мотиве. Поющие подошли ближе, прошли внизу мимо и она различала слова — говорили они об одном: о любви, о суженом, о суженой. Любовь, — несмотря на все страдания, на разрушающие обиды, на гибель всего бывшего, на смерть России... Любовь, любовь... Она встрепенулась: вот он, общий, извечный закон, слово, разрешающее все!... Это было так яс-

но... Все на земле было призвано подчиниться этому одному закону; и то, что ему не служило, было зло, было лишнее. И в смятении она вся содрогнулась вдруг: а она сама? Она тоже противилась этому закону. Ведь она любила его, — того, который теперь ушел по ее вине. Как она могла этого не понять, отпустить его?... Любя, оба они становились выше судьбы, выше страдания. Она поставила себе его и их взаимную жизнь вместе, зная теперь, что и здесь, в этой бедной и суровой глуши, где казалось бы невозможно счастье, или только для примитивных людей, она могла бы быть счастлива — полно, по настоящему, хотя где-то далеко была Европа, Париж, свободная, шумная, блестящая жизнь. Оба они могли бы быть счастливы, несмотря на то, что находились здесь в ссылке, то есть были обречены на страдание, ибо счастье — это любовь — думала она, и прошлое, и Россия потому всегда казались так прекрасны, что там были умение любить и красота любви.

Она забылась и очнулась от шороха. Две старческие, согбенные фигуры в пестрых азиатских халатах до земли, в чалмах, плелись одна за другой по тропе. Первый вел второго за палку. Лица их были худы, словно вылеплены из желтого воска, величественны, седые бороды обрамляли их. Оба прошли мимо, не заметив ее. Это были сильные туркмены, их было много в городе. Невдалеке оба остановились, подняли головы к небу... «Аллах, Аллах!» — донеслись до нее страстные возгласы. Гортанные звуки: оба молились... Она была поражена выражением страсти на их иссохших лицах, этой преданностью молитве. Небо стояло высоко, хрупкие розовые облака струились по нему, словно подернутые неплом с низу, сверху расплавленные огнем. Мир был прекрасен! Зачем нарушали его люди в поисках сытого счастья, когда единственное, что было нужно для счастья — это отдаться, не праяслова, этому миру, с благодарностью за красоту и наслаждение, что он давал, воспевая и славословя Того, Кто создал его и жизнь в нем. Как было имя Ему? Имело ли это значение? — Много давалось Ему имен и много дорог шло к Нему, но не сходились ли все они в одном Его саду?... Ей стало грустно, хотелось плакать, что она так поздно поняла это, что была полна протеста и искусственного восприятия жизни, и ей казалось, что была бы теперь в первый раз по настоящему счастлива, если бы ответила на любовь. Имела ли она однако право оставить его здесь?... На унижения, преследования, страдания? Может быть он нашел теперь свободу?... Быть может, быть может! — твердила она, — но целью жизни являлось все-таки соединение двух, которые любят. Иного смысла нет. Только зачем думать обо всем этом теперь? — спрашивала она себя с тоской — уже поздно!...

Она встала и пошла домой. Белая ночь лила над миром печальный, лимонный свет. Какие то мысли теснились бессвязно в ее голове, в глубине души билась какая-то надежда: она не могла бы определить на что. Так шла она с опущенной головой... и подняла ее на звук шагов.

По тропе навстречу ей шел, почти бежал он. Она остановилась, думая, что это мираж. Но шаги звучно раздавались в тишине. И, вся напрягаясь от радости, она бросилась к нему навстречу и тут же поняла, что смутно была всегда уверена в его возвращении.

— Я знала, что Вы вернетесь, — закричала она еще издали. — Я была уверена, что Вы не оставите меня... Но как Вам не стыдно мучить меня целый месяц! Могли бы вернуться раньше.

Лицо его было серо, исхудало. Она протянула ему обе руки, он сжал их, не зная что делать и говорить, взглянул ей вопросительно в глаза, и вдруг понял и прижал ее всю к себе, и стал целовать ее лицо, уши, голову, плечи, а она гладила рукой его запыленные жесткие волосы, иногда коротко всхлипывая, упрекала, забывая, что сама приказала ему идти.